

О ПРИЧИНАХ ПАДЕНИЯ РИМА

(Подражание Монтескье)

(История цивилизации во Франции от падения Западной Римской империи. Сочинения Гизо, члена французской академии. Часть первая. Переведено под редакциею М. Стасюлевича. С.-Петербург. 1861 г.)

Разбирать знаменитую книгу Гизо, издание которой в русском переводе — дело очень похвальное и полезное, мы не будем. Она слишком известна, стало быть, выставять ее достоинства бесполезно. Разбирать недостатки? Но главные недостатки взгляда Гизо вовсе не особенные его недостатки: повсюду, как у него, вы прочтете, что древний мир был неспособен к дальнейшему прогрессу, потому его разрушение было спасительно для человечества, и умер он от внутренних смертельных болезней; что варвары внесли с собою новые, высшие элементы, бывшие необходимыми для блага человечества; что папская власть, возникшая на основании варварства, была в свое время спасительна; что монашеские ордена были в свое время полезнейшими деятелями цивилизации, которая только и сохранилась благодаря монастырям; что феодализм, имея такие-то и такие-то недостатки, не должен, однакоже, быть порицаем безусловно; что вообще в средние века не так дурны, как утверждал Вольтер с энциклопедистами, и т. д. и т. д. Если мысли эти верны, Гизо столько же следует хвалить за них, сколько за то, что он верит в обращение земли около солнца, — это просто господствующее мнение; если же эти мысли ошибочны, опять в упрек ему ставить их нельзя. Лично человек не подлежит никакому упреку, если все так думают или делают, как он. Самому Гизо принадлежит только мастерское изложение господствующего взгляда, а иногда — очень дельные исследования в его подтверждение. За то и за другое нельзя не похвалить его; но ведь не писать же статью о мастерском изложении, и нельзя же наполнять журнала раз-

бором специальных изысканий о каких-нибудь частных вопросах средневековой истории. Следовательно, о главном направлении Гизо нет надобности много говорить.

Но в господствующем направлении исторических понятий есть много оттенков; в предпочтении того или другого оттенка уже выказывается личность писателя, уже состоит личное его достоинство или недостаток. Эту сторону дела мы рассматривали в рецензии русского перевода «Истории цивилизации в Европе» — книги, служащей предисловием к «Истории цивилизации во Франции». Стало быть, распространяться об этом теперь нет нужды.

Но если мы ничего не хотим говорить здесь о сочинении Гизо, то думаем коснуться самого предмета, о котором трактует книга. «Современник» порицает за недостаток серьезности, учености, — а вот покажем же, что можем быть солидными, то есть донельзя сухими и скучными (в этом смысле понимается солидность нашими порицателями), напишем статью о предмете, перед которым Суэцкий канал и зундская пошлина — сюжеты занимательные. Не угодно ли вам порассудить с нами, например, о великом переселении народов, о герулах и франках салийских, о визиготах и алеманнах, о Гензерихе и Сигеберте¹. Угодно ли, не угодно ли вам, а извольте слушать следующую диссертацию об отношении этих занимательных племен и лиц к не менее занимательным Максимианам, Максимианам и Максенциям.

Факт, с которого начинается история нового мира, — занятие провинций Римской империи варварами. По обыкновенному понятию толкуют о каком-то очень курьезном содействии этого факта историческому прогрессу, даже утверждают, что без него все пропало бы: только он и спас погибавший мир. Видите ли, римский мир уже совершенно истощил все свое содержание, ничего нового и лучшего не мог развить из себя, — по обыкновенному выражению, умирал. На этом способе рассуждения опираются разные вздорные мечтания и об нынешних делах. Если бы толковали только о древней Римской империи, то мало было бы нам огорчения и вреда. Но беда в том, что точно так же трактуют о вопросах, важных для нынешней практической жизни народов, в особенности народов полуварварских. «Западная Европа отжила свой век, истощила свои жизненные элементы; западные народы не способны продолжать дело прогресса; мир должен возобновиться падением этих народов и заменю их новыми, свежими племенами». Вы спрашиваете доказательств, — доказательство одно: так было полторы тысячи лет тому назад с римским миром; для продолжения прогресса необходимо было смениться прежним народам новыми, свежими племенами. После такого аргумента начинаются ликование и хвастовство: «А вот уж мы и готовы возобновить мир, внести в историю новые прекраснейшие элементы. Какие мы, право, молодцы! Вот не ныне,

завтра благодетельствуем человечество». Насколько это мнение происходит прямо из тщеславия, спор против него бесполезен. Тщеславие не исправляется никакими словесными доводами; оно уступает место справедливому сознанию своих достоинств лишь тогда, когда в людях действительно разовьются достоинства, приносящие им справедливую честь. Человек уже так устроен, что ему непременно хочется гордиться собой: нельзя гордиться путно, он гордится беспутно и становится рассудителен в этом отношении лишь тогда, когда приобретет истинные заслуги. Но на сколько тщеславный взгляд претендует опираться на аргументацию, на сколько он раздувается и укрепляется будто бы учеными соображениями, спор против него не остается без результатов: тщеславие все-таки принуждено бывает становиться несколько осмотрительнее и умереннее, когда докажут ему, что вздорность его очевидна: вот поэтому и разберем мы роль варваров при мнимом спасительном пособии их прогрессу человечества через занятие римских провинций.

Чрезвычайно часто бывает, что при рассуждениях о какой-нибудь вещи забывается одна неважная штука — сущность вещи. Сколько толкуют, например, о благодетельных последствиях какой-нибудь войны, забывая лишь одно то, что война разоряет обе воюющие стороны, а разорение ведь не бог знает как хорошо и полезно. Вот этим самым недостатком страдает и обыкновенное толкование о благотворности завоевания римских провинций варварами, что они будто бы принесли пользу прогрессу этим завоеванием. Да подумайте только, что такое значит прогресс и что такое значит варвар. Прогресс основывается на умственном развитии; коренная сторона его прямо и состоит в успехах и развитии знаний. Приложением лучшего знания к разным сторонам практической жизни производится прогресс и в этих сторонах. Например, развивается математика, от этого развивается и прикладная механика; от развития прикладной механики совершенствуются всякие фабрикация, мастерства и т. д. Развивается химия; от этого развивается технология; от развития технологии всякое техническое дело идет лучше прежнего. Разрабатывается историческое знание; от этого уменьшаются фальшивые понятия, мешающие людям устраивать свою общественную жизнь, и она устраивается успешнее прежнего. Наконец всякий умственный труд развивает умственные силы человека, и чем больше людей в стране выучивается читать, получает привычку и охоту читать книги, чем больше в стране становится людей грамотных, провещенных, тем больше становится в ней число людей, способных порядочно вести дела, какие бы то ни было, — значит, улучшается и ход всяких сторон жизни в стране. Стало быть, основная сила прогресса — наука, успехи прогресса соразмерны степени совершенства и степени распространенности знаний. Вот что такое прогресс — результат знания. Что же такое варвар? Человек,

еще погрязший в глубочайшем невежестве; человек, который занимает средину между диким зверем и человеком сколько-нибудь развитого ума, который к дикому зверю едва и не ближе, чем к развитому человеку. Какая же тут может быть польза для прогресса, то есть для знания, когда люди сколько-нибудь образованные заменяются людьми, еще не вышедшими из животного состояния? Какая польза для успеха в знаниях, если власть из рук людей сколько-нибудь развитых, переходит в руки невежд, незнанию и неразвитости которых нет никакого предела? Какая польза для общественной жизни, если учреждения, дурные или хорошие, но все-таки человеческие, все-таки имеющие в себе хоть что-нибудь, хоть несколько разумное, — заменяются животными обычаями?

Говорят: «римский мир истощил свои жизненные силы». Тут опять забывается сущность вещи. О чем говорится? О населении Римской империи. Что же, разве люди, его составлявшие, утратили человеческую натуру? Разве они перестали родиться имеющими человеческий ум и человеческие наклонности? Или разве по какому-то особенному случаю все люди в Римской империи рождались идиотами? Что за вздор! Пока общество состоит из людей, оно имеет в себе все свойства человеческой природы. Отживает свою жизнь организм отдельного человека; но с каждым вновь родившимся человеком является новый организм с новыми свежими силами, и при каждой смене поколений возобновляются силы народа. Прошло 20 лет, — двадцатилетний юноша стал сорокалетним мужчиною и потерял юношескую свежесть чувств, не влюбляется, не дурачится; но ведь это произошло с Петром, а в эти 20 лет вырос Иван, новый двадцатилетний юноша, который теперь имеет ту же самую свежесть чувств, точно так же влюбляется и дурачится, как было с Петром за 20 лет; прошло еще 20 лет, Ивану 40 лет, и он утратил свежесть чувств. А Петр, бывший в 40 лет здоровым работником, стал теперь 60-летним стариком и не может работать так много и хорошо, как прежде; но ведь его место занял Иван, а подле Ивана вырос новый двадцатилетний юноша Андрей, который теперь имеет точно такую же свежесть чувств, какую имел Иван 20 лет, а Петр — 40 лет тому назад. И какая тут перемена в составе общественных сил? Ведь и 20 лет тому назад тоже были 60-летние старики, кроме 40-летних и 20-летних людей; ведь и 40 лет тому назад были 40-летние мужчины и 60-летние старики, кроме 20-летних юношей? Как же это общественные силы могут истощаться? Как может уменьшаться в обществе свежесть и молодость, пока не перестают родиться люди? Кажется, пока рождаются младенцы, существует в обществе кормление грудью, прорезывание зубов; пока младенцы вырастают в детей, существуют в обществе детские игры, с звонким детским смехом; пока вырастают дети в юношей, существуют в обществе благородные юно-

шеские стремления с опрометчивыми юношескими увлечениями, с чистою юношескою любовью; а неужели вы думаете, что когда-нибудь не было в обществе стариков с старческою усталостью и холодностью? Риторика вещь прекрасная, — почему не гордиться иногда риторический вздор? — оно и нужно бывает иногда для эффекта; но не следует же постоянно ослепляться своей риторикой для того, чтобы совершенно забывать здравый смысл и факты. Стареет отдельный человек, в обществе пропорция свежих и усталых сил вечно остается одинакова. Пожалуйста, не противоречьте физиологии, не утверждайте, что бывают народы, состоящие из людей безголовых или не имеющих желудка, или исключительно из одних стариков, или исключительно из одних молодых людей, — ведь каждая из этих четырех фраз одинаково нелепа. Что за охота выказывать себя глушцом или лгуном.

«Нет, говорят нам, вы не так поняли наши слова; мы говорили не о количестве сил в обществе, а лишь о том, что формы общественной жизни сложились очень дурно, не было простора человеческим силам, не было выхода из этих форм, не было в обществе сил переработать эти формы, выработать из них новые, более широкие». Так? Ну, теперь верно изложена ваша мысль? На этом вы стоите? А прежде мы не так излагали ваш взгляд? Полноте, да разве вы говорите что-нибудь иное, чем ту же нелепость, от которой уже отказались, только облачаете ее в другую форму, более хитрую? Как же это в обществе недостает сил, а прежде когда-то доставало? Значит, количество сил в обществе уменьшилось? А ведь вы сами признались, что это — нелепость. «Нет, возражаете вы, вы опять не так перетолковали: мы не то говорим, что количество сил в обществе уменьшилось, а то, что препятствия к деятельности этих сил стали тяжелее прежнего; формы слишком укоренились; обществу нужно бы перерасти их, чтобы приобрести простор, а они слишком тверды, не может оно сломить их». Извините меня: не я перетолковываю ваши слова, а вы сами не понимаете, что говорите. Изложишь вашу мысль, вы говорите: «вот так, вот именно так мы и думаем»; попросишь вас всмотреться в эту мысль, скажешь: «так ведь это значит вот что», — вы и отказываетесь: «нет, говорите, мы не то думали, а другое». А по правде сказать: вы просто думали вещи несообразные, произносили слова, не вникая в их смысл: «дерево растет из железа», — помилуйте, из какого железа? — «Нет, мы не то хотели сказать; а что дерево растет из железной руды». — Нет, и не из железной руды оно растет. — «Опять вы не так толкуете: не то, что из железной руды, а из земли, в которой только есть и железная руда». — Да разве из тех кусков земли растет оно, которые составляют руду? — «Ну, разумеется, мы так и хотели сказать, что железная руда не участвует в росте дерева. Мы только хотели сказать, что на земле растут деревья

и железо тоже лежит в земле». Так рассудили бы вы, о чем хотите говорить; если о росте дерева, то не приплетали бы к нему железа; а если о железе, так не приплетали бы к нему, как растет дерево. А то вы просто говорите путаницу.

Вот хоть бы и теперь, в этой последней форме, на которой вы остановились. «Обществу стеснительны были укоренившиеся формы, ему нужно было бы перерастить их». — Ну, что же это значит? Значит, в обществе была прогрессивная сила, была необходимость в прогрессе; а вы начали с того, что общество было неспособно к прогрессу; да как же оно было неспособно к тому, к чему оно имело силы? — «Оно было способно к прогрессу; но препятствия были слишком сильны; не могло оно переработать укоренившихся сил». — То есть как же не могло? Чьею силою были созданы эти формы? Ведь силою общества; а количество сил в обществе не уменьшилось; как же оно стало бессильно над тем, над чем прежде оно было сильно? Разве разрушать труднее, чем создавать? Подумайте, что вы говорите: каменщики, построившие дом, не в силах разломать его; столяр, сделавший стол, кузнец, сковавший якорь, не в силах разрушить его. — «Ах, боже мой, вы все не так толкуете: ведь мы говорим не о том, что у общества было мало сил, а о том, что формы слишком укоренились». — Да что же это «укоренились»? Это, верно, опять метафора о дереве, растущем из железа? Форма — факт. Факт существует только постоянною поддержкою от силы, которая произвела его. Чтобы он исчез, слишком много будет, если сила прямо обратится на его разрушение; довольно будет, если она перестанет поддерживать его, он сам собою падет. «Укоренилось!» — метафора, уподобление дереву! Посмотрите же вы на дерево: разве оно все укореняется? — Укореняется до известной поры только, а потом начинает ветшать, падает, искореняется. Для этого не нужно, собственно, ни бурь, ни наводнений: довольно того, что растительная сила, поддерживавшая это дерево, начинает покидать его, что свежие соки из почвы перестают с любовью втягиваться в него, устремляются к чему-нибудь другому. Если уж брать вашу метафору об укоренении, из нее же самой выходит вот что: общество — почва, на которой вырастают формы общественной жизни; вырастают они из свежих соков этой почвы; пока они привлекают к себе эти свежие соки, они растут, укореняются; когда свежим сокам перестало быть привлекательно устремляться в эти формы, когда они стали привлекаться к чему-нибудь другому, укоренившиеся формы, как бы глубоко ни укоренились, начинают слабеть, искореняться, и на место их возникают новые формы, с которыми потом будет то же. — «Но когда почва истощилась, когда свежих соков нет?» — Ну вот и прекрасно, опять дерево у вас «растет из железа», опять старая песня: в обществе нет свежих сил, — а вы уж, кажется, сознались, что это — нелепость, что истощается отдельный че-

ловек, а не общество, что количество свежих сил в обществе никогда не только исчезать, но и уменьшаться не может. Или вам слишком нравится метафора о корнях, дереве и почве? Да разберите хоть эту метафору, она сама изобличит вашу нелепость. Разве истощается почва оттого, что покрывается растительностью, что эта растительность становится роскошнее и роскошнее? Кажется, на самом деле бывает наоборот; опадающие листья, истлевающие корни удобряют почву, открывают больше простора; если в нынешнем году была растительность, в следующем она будет лучше нынешней именно потому, что ей предшествовала нынешняя растительность. Вот скала, почти голая, едва прикрытая мхом, видимым лишь в микроскоп; жизнью этого моха образуется слой почвы для более заметной растительности; постепенно является трава, за нею кустарник, наконец лес, и чем дальше растет лес, тем глубже становится растительный слой, тем привольнее расти лесу, тем больше свежих соков находит он себе в почве, все улучшающейся без конца. Вот метафора, изображающая жизнь общества. В самой себе не имеет она конца от истощения сил; напротив, чем дальше длится она, тем роскошнее становится обилие свежих сил для ее продолжения в формах, все совершеннейших. Но вас смущают те примеры, что прогресс иногда уничтожается в известчых странах, в известном народе; вы не знаете, каких причин искать этому, и в недоумении вашем сваливаете вину на самое общество. Да попробуйте же обратиться хоть к вашей любимой метафоре об укоренении, росте и т. д. Она поможет вам понять дело, если вы не станете искать в ней только риторических фраз, а вникнете в факт, чтобы сообразить действие законов природы. Разве лес не исчезает иногда? Разве не заменяются результаты долгого развития растительных сил жалкими низшими формами? Разве не появляется иногда ничтожный бурьян или какой-нибудь дрянной коряжник на том месте, где был прекрасный лес? Скажите, отчего это бывает? От истощения ли почвы? — Нет, вы знаете, что это происходит от внешних фактов, совершенно посторонних самому лесу и его внутренней жизни. Случится проза, зажжет лес молния, вот он и сгорел; а чем он был тут виноват? или чем виновата почва, на которой он вырос? Но, разумеется, если вы не хотите довольствоваться незамысловатым натуральным объяснением, вы можете натянуть софизмами ход событий так, что погибель леса окажется, по вашему толкованию, результатом форм, принятых его жизнью. И можете вы доказывать, что погибший лес не мог продолжать расти сам собою от внутренних пороков. В самом деле, почему молния могла сжечь лес? Конечно, только потому, что много было в нем высохшего, попадавшего на землю валежника, много было на деревьях засохших или засыхавших ветвей, от которых еще не успели освободиться деревья, много было и целых деревьев, уже совершенно засохших, умерших, но еще продолжавших

держаться на корню, будто живыми. Значит, по-вашему, лес все равно погибал уже? Э, полноте! То же самое было с той самой поры, как начал разрастаться лес: с незапамятных времен было много в нем валежнику, много было сухих деревьев; но ведь росли же подле них новые, и разрастался же лес!

Метафоры чрезвычайно часто заменяют собою для огромного большинства всякое непосредственное понимание дела: «процветание», «укоренение», «увядание» — огромного большинства историков; этими словами ограничиваются, в сущности, все понятия о ходе истории. Потому-то мы и вникли в эту метафору, чтобы показать, что даже из нее следовало бы извлечь взгляд на вещи более натуральный и верный, чем какой распространен почти по всем историческим книгам. Возвратимся, например, к факту, с которого начинается средняя история. Какую книгу ни раскройте, от Гизо до г. Тимаева, везде найдете одно и то же:

«Жизнь древнего мира была исчерпана, принципы ее развиты вполне и истощены; древний мир разлагался, умирал и вместо него для продолжения исторического прогресса должны были явиться новые племена с свежими силами». Мы нарочно не употребляли тут ботанических метафор о процветании, увядании, почве и т. д., — обыкновенно речь бывает начинена еще этими метафорами; но скажите: и без них что она такое, как не та же самая, слово в слово, метафора, что, дескать, почва истощилась и нужна была новая почва, или что лес умирает сам собою, и т. д.? Если вы, не обольщаясь риторикою и не вводя в историю отвергаемых наукою понятий о назначении одного народа на место другого (как на место столоначальника, устаревшего или умирающего, назначается другой столоначальник с свежими силами к отправлению должности), — если вы, не делая невежественных гипотез, противоречащих законам природы, будете прямо рассматривать дело, как оно было, вы найдете ему другое объяснение или, лучше сказать, не найдете, а само собою оно найдется: и искать его нечего, так оно просто. Да и объяснять дело почти нечего, так оно будет ясно, лишь только вы позаботитесь свести главные черты его.

Мы сделаем лишь самый короткий очерк, возьмем лишь самые главные факты; будем приводить лишь одну самую сильную причину для каждого факта; потому очерк будет неполон: кроме главной причины, были другие, подобные ей; кроме главного факта, были другие очень важные, подобные ему. Но если читатель найдет нужным дополнить наш очерк подробностями, то просим его не думать, что мы не ценили их относительной важности. Мы имели целью не то, чтобы отметить все, что полезно было бы отметить, а лишь одно совершенно необходимое.

В то время как Рим возникал и постепенно усиливался в Средней Италии, почти все пространство итальянского материка было погружено в прубое варварство. Лишь несколько, не очень

значительных по объему, округов или успели достигнуть некоторой степени цивилизации, более или менее самостоятельной, или получили цивилизованное население из Греции. Из этих городов цивилизация стала проникать в Рим, и мало-помалу он сделался главным центром ее в Средней Италии. Какое положение дел настало, когда Рим, благодаря превосходству военного устройства, данного ему цивилизацией (у народов мало-развитых цивилизация прежде всего обращается на военные цели, и в военном могуществе цивилизующийся народ обыкновенно делает успехи быстрее, чем в других сторонах жизни), — что мы видим в Италии, когда римская власть расширилась до реки По, за которою начиналась тогда «дальняя» Галлия? Небольшое племя, почти все сосредоточивавшееся в одном городе с его окрестностями, овладевало обширную страну с многочисленным населением, в котором лишь очень немногие небольшие частички были несколько цивилизованы. Из своего центра оно основало много колоний по важнейшим пунктам покоряемых земель. Этими рассадниками, при пособии частичек, получивших цивилизацию раньше, население Италии постепенно цивилизовалось. Когда ход дела достиг некоторой высоты (столетия за два и за полтора до нашего летоисчисления), явилась цивилизованная масса такой многочисленности, что варварские и полуварварские народы, жившие в юго-западной Европе до Дуная, в юго-восточной Европе на север от коренной Греции и по восточному и южному берегам Средиземного моря, в Азии и Африке, или не превосходили эту массу численностью каждый по одиночке, или были малочисленнее. Например, лигуры или гельветы, бельги или иллирийцы могли вывести в поле тысяч 50 или 100; римляне могли послать против них также тысяч 50 или больше войска. Какой-нибудь полуварварский владетель Понта из Пергама, Сирии или Армении мог выставить тысяч 50 или 150 войска; римляне могли послать против него тысяч 100 или 80. Но римское войско было войско вполне регулярное, а у тех варваров или полуварваров регулярного войска или вовсе не было, или было мало, а масса сражающихся состояла из милиции, плохо вооруженной, а еще хуже дисциплинированной. Словом, тут было то же самое, что в столкновениях англичан с разными ост-индскими государствами, только неравенства по численности войск было меньше. Таким образом римляне очень быстро завоевали громаднейшее пространство земель, покоряя один народ за другим, вроде того, как англичане завоевали Ост-Индию (Македония тоже была страна полуварварская; образованная Греция, попавшаяся в добычу римлянам, не была велика ни по пространству, ни по числу жителей). Явилось государство, имевшее до 100 или 150 миллионов населения, от 100 тысяч до 150 тысяч квадратных миль, из которых четыре пятых части пространства и населения были совершенно варварские, из остальной доли значительнейшая

половина была полуварварская и лишь Италия была уже порядочно цивилизована, да еще был небольшой кусок цивилизованной земли на востоке — маленькая Греция с разбросанными своими колониями. Это известно каждому. Спрашивается теперь: какое положение дел должно было возникнуть из этого? Варвары и полуварвары понемногу цивилизовались, — вроде того, как теперь жители Ост-Индии. Дело это шло не с быстротою молнии, — но что ж тут удивительного или отчаянного? Вот Россия, в которой население в несколько раз меньше, чем население Западной Европы, уже около 400 лет (не с Петра Великого, а с Иоанна III) находится под сильным умственным влиянием западноевропейского населения, несравненно многочисленнейшего, чем мы, а ведь все еще нельзя нам слишком хвалиться своими успехами, не бог знает как далеко ушли. Но что же тут погибает и какая почва тут истощается? Вот точно так же и тогда: Пиренейский полуостров, Галлия, Британия, южная окраина Германии, нынешняя Турция европейская и азиатская, южная часть России, Северная Африка с громадными своими населеннями понемногу цивилизовались влиянием, выходящим из Греции и Италии. Так прошло лет 400 или 500. Успехи всеми этими странами были сделаны очень порядочные; но, разумеется, не успели же они достичь того уровня, на котором были их цивилизаторы — римляне и греки.

Сначала, когда эти обширные страны стояли еще слишком низко, небольшие цивилизованные страны, бывшие двумя центрами, из которых разливался прогресс, легко сохраняли свое владычество над ними, вроде того, как англичане в Ост-Индии довольно долго не встречали опасности своему господству от народа, как только был он раз покорен. Но мы заметили, что военная часть раньше всего развивается у народа, начинающего цивилизоваться. Вместе с улучшением способности сражаться начала пробуждаться у покоренных народов мысль о независимости; начались восстания, более или менее имевшие национальный характер и опиравшиеся на местное регулярное войско, — то возмутятся сирийские легионы, то возмутятся испанские легионы, то возмутятся галльские легионы, — словом сказать: начали происходить факты вроде недавнего возмущения бенгальской армии². Удивительно ли, что при таких обстоятельствах римляне принуждены были управлять завоеванными странами по порядку, в котором над всем преобладали военная часть и финансовая часть? Сначала это было нужно для утверждения римской власти, потом — для предотвращения и подавления попыток к отпадению. Точно так же управляют англичане Ост-Индией. Войско и деньги на содержание войска — как можно больше войска содержать в стране и как можно больше денег брать в стране на содержание войска — ведь и англичанам в

Ост-Индии почти некогда думать ни о чем, кроме этого. Точно так же было и с римлянами относительно провинций.

Спросим: неужели силы Ост-Индии истощаются от английского господства? Неужели Ост-Индия не совершенствуется при нынешнем порядке вещей? Слова нет, там еще очень дурно: и народ еще чрезвычайно невежествен, и живет бедно, и подати тяжелы, и в управлении много произвола; да разве это до англичан лучше было? Напротив, несравненно хуже; а теперь все-таки становится с каждым годом лучше: и дороги строятся, и дикие обычаи понемногу искореняются, и число грамотных людей увеличивается между ост-индцами; вот уже многие из них пишут книги вроде европейских, многие приобретают европейские понятия о законах и законном порядке. Неужели это — ход дела отчаянный? Положение очень дурно, но улучшается; цивилизация еще очень слаба, но растет. К чему это приведет раньше или позже? Спросите у самих англичан, они скажут: ост-индцы цивилизуются; когда они оцивилизуются настолько, что не будут нуждаться в нашем руководстве, Ост-Индия сделается независимой от Англии. Добровольно ли мы уйдем из нее, прогонят ли нас, этого в точности рассказать наперед нельзя; вероятно, будет отчасти добровольная уступка, отчасти — принужденное вытеснение. Одним ли государством останется Ост-Индия или распадется на несколько государств, этого также нельзя рассказать вперед с точностью; но, вероятно, будет несколько государств, потому что население распадается на несколько огромных племен. Впрочем, все это, вероятно, будет еще не так скоро, потому что до сих пор индийцы еще слишком далеки от нужного для того уровня цивилизации. Это говорят сами англичане. Что предвидят они относительно Ост-Индии, то уже начало исполняться в римских провинциях. После долгих бесплодных попыток к возвращению национальной независимости, — оставшихся бесплодными по слишком малой еще тогда степени успеха провинций в цивилизации, — Римская империя начала очень явно разделяться на 4 части: центром одной была Галлия, центром другой — Италия, третьей — Греция, четвертой — Малая Азия. Что тут было смертельного? Напротив, ведь в каждом учебнике говорится, что распадение империи Карла Великого было результатом и свидетельством успехов, сделанных нациями, основанием и залогом дальнейшего прогресса. Вот то же самое началось и в Римской империи. Управление империею посредством четырех, как будто федеративных, государей около времен Диоклетиана, или распределение империи на четыре префектуры³, точно так же было фактом прогресса, как и распадение империи Карла Великого. Тот и другой факт одинаково показывают, что побежденные народы успели подняться настолько, что уже не осталось прежнего чрезмерного расстояния между ними и бывшими их завоевателями. Разница лишь в том, что

римляне III и IV веков нашего летоисчисления стояли по цивилизации гораздо выше франков IX века, стало быть — и успехи, сделанные провинциями в первые три века нашей эры, были гораздо значительнее сделанных ими в первую половину средней истории.

Говорят, что стеснительность форм в Римской империи была безвыходна, а грабительства римлян в провинциях безмерны. Действительно, самоуправство и хищничество проконсулов, а потом императорских правителей были чрезвычайно велики; а формы управления были чрезвычайно обременительны. Но как ни дурно было положение дел в Римской империи, по завоевании варварами оно сделалось несравненно хуже. Римские гражданские и уголовные законы имели значительную степень достоинства; по завоевании варварами законом стал произвол, безумный каприз алчного и кровожадного дикаря. Положим, что римский проконсул или префект грабил и казнил очень свирепо. Но он и его помощники понимали, что поступают жестоко и притеснительно, когда поступали таким образом. Стало быть, они поступали так, лишь когда побуждал их к тому расчет; они знали, по крайней мере, что резать и грабить дурно, оставались справедливы и не жестоки во всех тех бесчисленных случаях, когда не было им прямой пользы от несправедливостей. Завоеватель — варвар был не таков: он резал людей так, как школьники бьют мух — без всякой надобности, просто от скуки. Ему не нужно было для этого уклоняться с пути, который он признавал справедливым; у него не было ни колебаний, ни опасений, не было того неприятного чувства, которое отталкивает человека от дурного дела и для преодоления которого нужны особенные, довольно сильные побуждения: нет, он не делал ничего дурного, когда резал и грабил. Он делал это с тем чувством, с каким мы выпиваем рюмку вина или садимся играть в преферанс. В VI или VII столетии жить было несравненно хуже, чем в III.

И не только формы управления были в III веке менее стеснительны, чем через 200 или 500 лет после того, — формы эти уже готовились измениться в Римской империи лучшими. Основанием для возможности притеснений было слишком низкое развитие провинций сравнительно с Италией; по мере того, как провинции цивилизовались, ослабевал этот главный источник бесправности их жителей. Мы знаем, что право римского гражданства постепенно предоставлялось одной провинции за другою и, наконец, было распространено на всю Римскую империю. Конечно, сначала это право оставалось почти только на бумаге по недостаточной подготовленности жителей провинций отстаивать его, по непривычке их считать себя людьми. Но ведь всегда бывает так; и тоже, как всегда бывает, провинции понемногу стали привыкать пользоваться своим правом и желать лучшего. Возникло общественное мнение; под конец Римской империи

оно уже достигало такой силы, что меры, принимаемые без совета с ним, оказывались недействительными, и само правительство увидело надобность призвать выборный элемент к участию в делах. Градское и сельское управление мало-помалу было передаваемо в руки самого общества, а в последние времена Римской империи начали появляться императорские декреты об учреждении чего-то похожего на провинциальные сеймы. Разумеется, эти уступки были только формальными, — на деле императорская администрация оставалась полновластной; но вначале ведь всегда так бывает. Следовательно, формы политического устройства уже начинали изменяться в направлении, открывавшем простор для гражданской жизни провинций.

Столь же заметен прогресс в юридическом положении массы. Она при завоевании провинций находилась в рабстве. Рабство довольно быстро смягчалось, заменилось крепостным состоянием, и крепостные люди начали постепенно приобретать больше и больше прав.

Таким образом во всех отраслях цивилизованной жизни Римская империя подвигалась вперед: просвещение в провинциях распространялось; национальности шли к приобретению независимого существования; в управлении стал являться выборный элемент; права массы расширялись.

В чем тут признаки истощения сил, в чем зародыши смерти от внутреннего изнурения? Напротив, везде видны зародыши более полной жизни в лучших формах.

Варварскими нашествиями почти все существовавшее хорошее было истреблено, римский мир отодвинут на несколько сот лет назад к тем временам, когда владычествовали над Галлией дикие верцингеториксы, бродили по Европе кимвры и тевтоны, или к временам еще более далеким, когда Македония была населена дикарями, когда опустошаема была Малая Азия скифами, или еще раньше, когда ходили греки на Трою. Не раньше XVII века, быть может только в половине XVIII века, успела континентальная Европа снова подняться до того положения, до какого достигала в конце III, в начале IV века. Прогресс был слишком на 1000 лет задержан падением Западной Римской империи перед варварами.

Но, говорят, самая победа варваров над Римскою империею доказывала несостоятельность Римской империи. Если бы внутренние силы римского мира не истощились, он легко отразил бы натиск этих слабых дикарей.

То есть как же это «легко» и каких же это «слабых»? Внутренние силы Римской республики, конечно, были в самом энергическом процветании (если уже употреблять вашу метафору) около времен Мариа⁴. Что же мы видим? Кимвры и тевтоны истребляют несколько римских армий, чрезвычайно многочисленных, и Рим снова на один волосок от опасности быть взятым

варварами, как был взят три столетия перед тем, как был взят через пять столетий после того⁵. Или легко было римлянам побеждать племена Западной Германии при Августе? А с кем же тут боролись римляне? Лишь с небольшою частицею, лишь с отдельными племенами дикарей одной только западной окраины безмерного пространства от Рейна до Амура, которое все занято было такими же воинственными дикарями. Вообразим же себе, что все эти народы устремились на запад: не одни прирейнские номады, как прежде, двигались на римлян, — эти племена составляют теперь лишь ничтожный авангард несметных алчных полчищ, которые волна за волною льются на цивилизованный мир из глубины центральной и восточной Германии, из Европейской России, из Туркестана, из Монгольской степи. Бьет первая волна, — она отбита, но покрыла развалинами широкую полосу цивилизованного побережья; за нею катится другая волна, за другою третья, и каждая все выше, стремительней, и проникает все дальше. Так продолжается в течение нескольких поколений, пока, наконец, не осталось в цивилизованном мире уголка, который по несколько раз не был бы потоплен наплывом этих свирепых полчищ. Какие-нибудь кимвры и тевтоны, составлявшие всего, может быть, сотую долю этого варварского населения, поколебали Рим; свидетельствует ли об ослаблении сил Римской империи тот факт, что она была подавлена всею грудю этого номадного населения?

Надобно яснее представить себе отношение сил между кочующими дикарями и цивилизованным народом. Когда цивилизованный народ посылает регулярное войско для покорения дикой страны, номады которой не думают итти всею массою на цивилизованную землю, варварская страна завоевывается регулярным войском. Таковы были походы Александра Македонского и римлян. Но если в оборонительной войне номады слабы, потому что разделены обширностью своих пустынь на племена довольно мелкие, то совершенно иное дело, когда из глубины степей поднимаются эти кочевые племена и двигаются через земли подобных себе дикарей на цивилизованную страну: тут с каждым шагом стремящаяся масса их растет, захватывая в себя или гоня перед собою племена, встречающиеся на пути. Сила дикарей страшно вырастает и от того, что они соединяются в сплошную массу, и от того, что они одушевлены расчетом на грабеж. В наступлении они гораздо грознее, чем в обороне.

«Положим, что готы, вандалы, гунны и бесчисленные другие племена и дружины варваров двигались громадными массами, натиска которых не могли бы выдержать ни легионы Августа, ни легионы Суллы, ни Мария, ни Сципионов. Но после того разве не было также бесчисленных примеров, что довольно слабые шайки варваров проходили насквозь целую страну, не встречая нигде отпора? В конце IV века уж есть такие примеры, а в V их

очень много. Вот вам и доказательство, что древний мир умирал, был бессилён, ветх». Разумеется, стал он, наконец, и ветх, и бессилён, и умер напоследок, — кто в этом сомневается? — Ведь о том и речь идет, от чего ослабел он, от чего умер. Нанесено человеку множество ударов огромной булавой; он лежит на земле умирающий, разумеется, теперь слабая рука может бить его хоть щепкой безнаказанно, — не даст он отпора; а потом ведь и черви будут есть его, и не пошевелит он пальцем, чтобы раздавить червяка. Как же он не обессилел, как же он не умер? Только не говорите, пожалуйста, что был он слаб, что умер от внутреннего органического расстройства. Ведь когда Антей был брошен задущенный Геркулесом, пигмеи могли безнаказанно потешаться над его громадным телом. Что же, по-вашему, Антей был хилого здоровья человек или охилел от дряхлой старости?

Чем же был убит древний мир? Мы прямо говорим: исключительно волнением, которое овладело всеми кочевыми племенами от Рейна до Амура. Тут было ни больше, ни меньше, как гибель страны от наводнения. Никакой внутренней необходимости смерти не было. Напротив, жизнь была свежа, прогресс безостановочен. Погибель Римской империи — такая же геологическая катастрофа, как погибель Геркулана и Помпеи, как погибель страны, по которой гуляют теперь волны Зейдер-зе. Подобные случаи погибели предмета, погибели дела от внешних разрушительных сил, как бы ни здорово было дело, как бы ни исполнен был жизни предмет, встречаются ежедневно в частном быту, встречаются бесчисленное число раз в истории; только никогда не происходила эта гибель в известной нам истории в таком огромном размере, как при погибели всего древнего цивилизованного мира. Не толкуйте же о разумности, о благотворности этих катастроф. Лошадь ударила человека подковою по виску, и он умер, — какая тут разумность, какие тут внутренние причины смерти? Лиссабон разрушен землетрясением, — виноваты ли в том достоинства или недостатки португальской цивилизации? Поднимается самум, заносит песком караван в Сахарской степи, — не доказывайте, что верблюды и лошади были плохи, люди глупы, товары нехороши. Слепая игра сил природы в стихиях, в животных или в людях, не вышедших из животного состояния. Помните ли вы песню Гёте о том, как Тилли брал Магдебург:

«Магдебург, Магдебург! Девушки в нем красавицы, — красавицы в нем и девушки, и женщины. Все цветет там. Идет к нему Тилли по цветущим лугам, по цветущим садам, идет к нему Тилли. Стал под ним Тилли. — «Кто спасет наш город, кто спасет наш дом! Иди, мой милый, бейся с ним». — «Он не страшен, как ни грозит нам. Поцелую твои алые губки. Он не страшен». — Конец песни вам известен. Защитники Магдебурга перебиты, город взят; девушка бежит. Ландскнехт останавливает ее⁶.

Ну, что же вы, доказывайте разумность факта: не был ли молодой человек — трус, не была ли девушка — кокетка, не за то ли они погибли, не является ли Тилли орудием прогресса, не вносит ли он в Магдебург элементов новой, лучшей жизни? Да и в самом деле, ведь Магдебург имел корпоративное устройство с гильдейскими и цеховыми учреждениями, так Тилли, вероятно, помог развитию свободы промышленности, должно быть, что без Тилли не могли явиться Адам Смит и Кобден. Вероятно, гибель Магдебурга была необходима для промышленного прогресса! Что за пошлость! побежденный виноват, убитый — сам причина своей смерти. Нет, по этому признаку нельзя судить; всячески бывает на свете: побеждают правые, побеждают и виноватые; умирают больные, умирают и здоровые, — всячески бывает:

Сколько добрых * жизнь поблекла,
Сколько низких рок щадит!
Нет великого Патрокла,
Жив презрительный Терсит! 7

В населении самих провинций Римской империи мы не находим решительно никаких причин считать гибель древнего мира делом нужным или полезным для человечества. Мы видим только крайнюю нелепость, совершенное противоречие с фактами в обыкновенном мнении, будто бы древний мир истощил свои силы, дошел до предела, выше которого не мог бы развиваться, и будто бы надобно было ему погибнуть для открытия возможности дальнейшего прогресса человечеству. Но кроме этой дикой стороны, обращенной против древнего мира, господствующее мнение имеет другую сторону, очень льстивую для племен, завоевавших римские провинции. На сколько древний мир был безжизнен и неспособен к прогрессу, на столько же, видите ли, варвары отличались какими-то особенно жизненными элементами и были способны к развитию; варвары, видите ли, внесли жизненные соки, и т. д. — развивается та же деревянная метафора, кончающаяся поэтическим уподоблением: «так мутные воды Нила, потопля Египет, покрывают его слоем плодоноснейшего ила», — видите, до чего простерлась поэзия, даже рифма выходит: Нила, ила. Превосходно! Только ни с Нилом, ни с его плодотворным илом никакого сходства нет. Позвольте спросить: почему это варвары были особенно способны к прогрессу и какие новые живительные элементы внесли они в историю?

Обыкновенно отвечают: «принцип личности». В древнем мире будто бы личность поглощалась государством, человек исчезал в гражданине. У варваров, наоборот, индивидуальная свобода была выше всяких общественных уз. Тут просто-напросто противопоставляются две эпохи общественного быта, которые, впро-

* У Жуковского «бодрых». — *Ред.*

чем, обе вместе со множеством других эпох существовали в самой истории древнего мира. У всех диких кочевых племен, например, у краснокожих северо-американцев, у калмыков, нет общественных учреждений, которые действовали бы постоянно и правильно; вождь является с действующею властью лишь в особенных случаях; а в обыкновенное время она спит; племенные сходки собираются тоже лишь в особенных случаях; по обыкновенным делам между частными лицами расправляются сами эти лица, как знают. Если одно из них обращается за покровительством к вождю или к племенному собранию, другое лицо покоряется или не покоряется этой власти, как само рассудит; словом сказать, обыкновенное течение дел — полнейшая неурядица с постоянным насилием и с полнейшим деспотизмом вождя или сходки в тех случаях, когда возбуждается к действию эта власть, против которой, впрочем, каждый, кто захочет, ведет войну. То же самое было и у германцев. То же самое в старину, задолго до Филиппа, было и у македонян. То же самое было у всех племен, вошедших в состав древнего мира, когда каждое из них было в состоянии дикости. Что тут особенного? И что тут особенно хорошего? Или уж не заключается ли в таком состоянии общества прочный зародыш свободы? Нимало. Власть вождя дремлет лишь потому, что богатств у каждого мало, а он — человек богатый, ему и скучно хлопотать из-за пустяков; он и спит себе, пока его растолкает кто-нибудь с просьбою о вмешательстве. А как только является у членов общества богатство, привлекающее внимание вождя, он перестает спать и оказывается постоянным деспотом. Легко ему сделаться деспотом потому, что племя имеет военные нравы; он — военный командир, а власть военного командира не знает границ; само племя расположено к признаванию такой власти. Вольные монголы и Чингиз-хан с Тамерланом, вольные гуны и Аттила; вольные франки и Хлодвиг, вольные флибустьеры⁸ и атаман их шайки — это все одно и то же: то есть каждый волен во всем, пока атаман не срубит ему головы, как вообще водится у разбойников. Какой тут зародыш прогресса, мы не в силах понять; кажется, напротив, что подобные нравы — просто смесь анархии с деспотизмом.

Оно так и вышло. По завоевании римских провинций каждый человек из племени завоевателей разбойничает, грабит и режет, кого ему вздумается, из завоеванного ли населения, из своих ли товарищей, пока кто-нибудь зарежет его, а вождь между тем рубит головы у всех, кто попадется ему в лапы.

Кроме этой особенности, никакой другой особенности мы не видим в порядке, заведенном варварами. А эту особенность мы видим и у печенегов, и у половцев, и у татар, завоевавших Русь, — впрочем, оно и то сказать, есть у нас историческая школа, говорящая, что татарский порядок был очень благотворен для России. Но вот о египетских мамелюках, которых истреблял

Наполеон, а потом Мегмет-Али, о турецких янычарах, о мароккских, тунисских, алжирских разбойничьих шайках с их деями и беями⁹ (совершенно соответствующими готским, бургундским, аллеманским, франкским дружинам с их предводителями) никто, кажется, не говорит, что они внесли новые элементы прогресса в страны, где утвердился их разбой, и повели по пути прогресса население Босны*, Герцоговины, Египта и т. д.

Но ведь из этого разбоя, продолжавшегося несколько веков, вышел, наконец, феодализм — вот и особенный элемент, внесенный в жизнь цивилизованных стран варварами. Хоть бы и был он особенным, какой же в нем прогресс сравнительно с устройством Римской империи в самые худшие времена ее? Там все-таки была известного рода законность, хотя сколько-нибудь соблюдавшаяся. А феодализм — ни больше, ни меньше, как грабеж, приведенный в систему, междоусобица, подведенная под правила. Теперь уже давно всеми признано, что в феодализме не было решительно ничего способного к развитию, что он был лишь смягченной формою предшествовавшей ему полной анархии грабительского самоуправства. Ничего не могла взять цивилизация из этой формы, служившей только препятствием для нее; все, решительно все отвергала цивилизация из феодальных учреждений, как только могла справиться с ними. Разумеется, сравнительно с VI и VII столетиями феодализм был прогрессом, но лишь в том смысле, в каком старинные итальянские разбойники, бравшие выкуп, были прогрессом над прежними разбойниками, резавшими без всякого выкупа. Да и что специального, особенного в западном феодализме? Возник он из того, что вольные люди записывались в подданство могущественных соседей, чтобы через регулярное жертвование частью дохода получать защиту против других грабителей. Но точно так же записывались под власть сильных людей вольные люди во всех странах в эпохи сильной неурядицы; например, и у нас так было в смутные времена самозванцев. Возникшая из этого форма отношений между второстепенными владельцами и могущественным провинциальным владельцем, как их сюзереном, между областными владельцами и владельцем страны, как их сюзереном, тоже не представляет ничего особенного; точно таковы же были отношения сильных раджей к императору, а мелких раджей — к сильным раджам в Ост-Индии; какой-нибудь Ауд был как две капли воды похож на какую-нибудь Саксонию или Бургундию XII века. Раскройте Шах-Наме, вы увидите то же самое в старинном персидском царстве: Рустем такой же герцог своей области, имеет точно таких же второстепенных вассалов, как Генрих Лев, и находится к шаху Кейкаусу¹⁰ точно в таких же отношениях, как саксонский владетель к немецкому императору, как граф шампанский к фран-

* Боснии. — *Ред.*

цузскому королю. Точно в таких же отношениях были так называемые тираны греческих малоазийских городов к царю персидскому. Теперь дело известное, что формы, подобные феодализму, являлись почти во всех странах в период перехода от полнейшей дикости к низшим ступеням порядка, сколько-нибудь законного. Древний мир задолго до начала нашего летоисчисления дошел уже до форм более совершенных или, лучше сказать, до форм менее диких.

Вот мы дошли и до конца средней истории: ведь она кончается заменением феодализма централизованною бюрократиею или чем-нибудь подобным. А достигла эта централизованная бюрократия полного господства над феодализмом не раньше как в XVII веке; а в Римской империи эта форма уже господствовала в III веке; значит, целые 14 веков были потрачены на то, чтобы поднялась история хоть до той высоты, с какой низвергли ее варвары. Вот теперь и рассуждайте о благодетельном влиянии завоевания римских провинций варварами. Вся благотворность этого события состояла в том, что передовые части человеческого рода низвергнуты были в глубочайшую бездну одичалости, из которой едва успели вылезть до прежнего положения после неимоверных 14-вековых усилий.

Сделаем теперь крутой поворот. Какое нам дело до тех или других понятий о способности или неспособности древнего мира к дальнейшему прогрессу, о благодетельности или гибельности вмешательства варварских племен в судьбу цивилизованных стран? Пусть пишутся об этом специалистами ученые книги; нас занимают вопросы совершенно иные, и, разумеется, мы не стали бы тревожить такую ветхую старину, если б разоблачение ошибочного взгляда на вопрос ветхой старины не представлялось делом довольно важным для очищения самохвальных и, к счастью, пустых мыслей о некоторых живых отношениях. Мы говорим не о славянофилах. Если бы спорить приходилось лишь против них, не стоило бы спорить, потому что они малочисленны, и слишком уже часто встречаются люди, любящие дешевым манером подсмеиваться над ними, не замечая того, что сами не чужды коренной тенденции, из которой происходит славянофильство. Оно лишь — последовательная, развитая форма чувства, существующего чуть ли не в большинстве нашего общества, проглядывающего, к сожалению, даже у многих из людей, имеющих влияние на мысли всей публики. «Мы призваны обновить жизнь цивилизованного мира, внести в нее высшие элементы, которых сам он выработать не в силах». Всмотритесь хорошенько в самого заклятого западника, он с этой стороны часто оказывается славянофилом.

Мы далеко не восхищаемся нынешним состоянием Западной Европы; но все-таки полагаем, что нечем ей позаимствоваться от нас. Если сохранился у нас от патриархальных (диких) времен

один принцип, несколько соответствующий одному из условий быта, к которому стремятся передовые народы, то ведь Западная Европа идет к осуществлению этого принципа совершенно независимо от нас. Новые экономические тенденции стали обнаруживаться во Франции и в Англии задолго до того, как барон Гакстаузен рассказал немцам о нашем обычном общинном землевладении¹¹; а французы и англичане узнали об этом нашем обычае от немцев еще позднее, — чуть ли не вчера только или третьего дня. Их мыслители нашли истину без помощи знаний о нашем быте; они и не подозревали даже, когда составляли свои теории, что у одного из русских племен сохранилось общинное землевладение. Распространялись и распространяются до сих пор их мысли в Западной Европе также без всякого отношения к нашему обычаю: ни для кого из приверженцев новых теорий на Западе не служит он доводом в пользу новых теорий. Это все равно, как изобретены были и распространились по Европе висячие мосты, без всякого участия тут несколько похожей вещи, издавна существующей — не помним — у китайцев ли или у какого-то другого восточно-азиатского народа: перебрасываются с одного края ущелья на другой веревки и настилаются на этих веревках доски. Европейские инженеры и не подозревали о существовании такого факта, когда стали доказывать возможность и пользу висячих мостов, и вошли в употребление такие мосты без всякой помощи китайского или какого другого восточно-азиатского влияния. Какое же тут участие имели китайцы в прогрессе европейской инженерной науки и практики? Чем была тут или будет обязана им человеческая цивилизация или Западная Европа? Напротив, когда они из своего бог знает какого bestолкового состояния перейдут в порядочную цивилизацию, они же будут учиться от Западной Европы не тем одним вещам, сходного с которыми ничего не было у них в их прежнем азиатстве, а между прочим и постройке висячих мостов, сходная с которыми вещь была у них. Принцип, положим, действительно один и тот же. Но форма, до какой развивается вещь, порождаемая принципом, совершенно не та, и китайцам без помощи европейской цивилизации никак нельзя было бы дойти до висячего моста, действительно прочного, удобного, удовлетворяющего надобностям цивилизованного общества; а та форма, какая существует у них при азиатстве, ведь и неудовлетворительна для общества, сколько-нибудь развитого. Что же хорошего в китайских веревочных мостах? Хорошо в них то, что при своем прежнем и нынешнем азиатстве китайцы, бывшие неспособными иметь постройки более совершенной формы, терпели бы еще больше неудобств, если б не было у них хоть веревочных мостов. Значит, для китайцев эти мосты были и остаются пока полезны, даже очень полезны, пожалуй, благодетельны и спасительны; но ведь для самих же китайцев только; а Европе не принесли, не приносят и не могут

принести никакой пользы. Они ей совершенно не нужны; они для нее совершенно неудовлетворительны. А для китайцев они, как мы уж говорили, очень полезны. И не только теперь полезны, при их изобретении, при их неспособности иметь лучшие пути сообщения с лучшими мостами. Наверное обычный этот факт окажется полезен и для дальнейшего их прогресса, когда они станут способны завести у себя лучшие пути сообщения по европейской науке. Ведь мандарины не сделаются же вдруг просвещенными европейцами, истинными реформаторами, какими-нибудь Стефенсонами или Робертами Овенами; долго будет у них в головах сидеть азиатская рутина с отвращением от всего истинно-европейского. Вот им и будут говорить порядочные инженеры: «что же такое, ведь висячие мосты — чисто национальное наше китайское учреждение; ведь в них нет ничего европейского, развращенного и губительного для китайских порядков». Да и народ китайский не легко поверил бы удобству и прочности железных висячих мостов, если бы не привык к своим веревочным; ну, а теперь каждому будет видно, что железные висячие мосты безопасны во всех отношениях: и с китайскими порядками сходны, и ходить или ездить по ним вовсе не страшно. Значит, китайцы будут много обязаны своим нынешним веревочным мостам за легкие успехи нового инженерного искусства в их стране.

Вот точно такого же рода история и с нашим обычным землевладением. Европе тут позаимствоваться нечем и не для чего; у Европы свой ум в голове, и ум гораздо более развитый, чем у нас, и учиться ей у нас нечему, и помощи нашей не нужно ей; и то, что существует у нас по обычаю, неудовлетворительно для ее более развитых потребностей, более усовершенствованной техники; а для нас самих этот обычай пока еще очень хорош, а когда понадобится нам лучшее устройство, его введение будет значительно облегчено существованием прежнего обычая, представляющегося сходным по принципу с порядком, какой тогда понадобится для нас, и дающим удобное, просторное основание для этого нового порядка.

Кроме общинного землевладения, невозможно было самым усердным мечтателям открыть в нашем общественном и частном быте ни одного учреждения или хотя бы зародыша учреждения для предсказываемого ими обновления ветхой Европы нашею свежелою помощью. Мы тут говорим, разумеется, не о славянофилах; у славянофилов зрение такого особенного устройства, что на какую у нас дрянь ни посмотрят они, всякая наша дрянь оказывается превосходной и чрезвычайно пригодной для оживления умирающей Европы. Один уверяет, что очень хороша привычка нашего народа безответно подвергаться всяким надругательствам и что Западная Европа умирает от недостатка этой похвальной черты, а спасена будет нами через научение от нас такому же смирению. Другой находит, что мы молодцы пить и гулять, что

Западная Европа должна научиться от нас широкому русскому разгулу, то есть дракам в харчевнях и битью стекол в трактирах, и спасена будет от смерти собственно этим. Третий проникает глубже в народную жизнь, и от домашнего очага, то есть от сбитой из глины печи черной избы, выносит иное сокровище: битье жен мужьями, битье сыновей отцами (и наоборот, битье отцов сыновьями, когда отцы одряхлеют), отдавание дочерей замуж и венчанье сыновей по приказанию родительскому без надобности в согласии женимых и выдаваемых замуж; эти семейные отношения должны послужить идеалом для Западной Европы, которая и спасется через них. Четвертый восхищается продолжительностью нашей жестокой зимы и находит, что Западная Европа расслабела от недостатка морозов; но уж в этом никак нельзя ей помочь, и он откровенно сознается, что дело ее пропавшее. Мы говорим не о таких людях: их мало, и спорить с ними не стоит, — мы говорим не про чудаков, а про людей, рассуждающих по обыкновенному человеческому смыслу. Они, кроме общинного землевладения, не видят у себя ничего такого, чему полезного было бы распространиться от нас на передовые страны и чем бы могли мы содействовать их оживлению. А этому обычаю Европе поздно научиться от нас, да и не нужно учиться, потому что сама она гораздо лучше нас понимает, какие новые порядки ей нужны, как их устроить и какими способами вводить. Значит, оживлять нам ее ровно уж нечем.

Нечего нам и хлопотать об этом: никаких оживлятелей не нужно ей. Она и своим умом умеет рассуждать и своими силами умеет делать, что ей угодно, и своих сил довольно у ней на все, что ей нужно делать.

Или вы начнете говорить, что она ветшает, слабеет силами, что она отжила свою жизнь и т. д., — то есть опять возвратиться к той же метафоре о дереве, которая оказалась обманчива, и все к тому же примеру древнего мира, который оказался свидетельствующим совершенно противное, — к этому ли возвращаетесь вы? Пожалуй, потолкуем еще раз.

«Старые страны, долго жившие исторической жизнью, источают свои...» — ну, довольно, продолжение мы уж слышали. Рассудимте сначала хотя о древнем мире, для краткости — хотя о западной половине его, о Западной Римской империи; для большей краткости будем говорить лишь о северной части ее, о западно-европейском куске Римской империи. Он состоял из Италии, юго-западной Германии, немецкого рейнского побережья, Бельгии, Голландии, Англии, Франции, Пиренейского полуострова. Из всех этих стран, какие имели долгую историческую жизнь перед разрушением западного римского мира? — Одна только Италия. Все остальные еще в начале нашего летоисчисления были совершенно дикими, варварскими, то есть, по вашей терминологии, юными, свежими, девственными. От этой девственности и

свежести начинали они избавляться; мы видели, что понемногу они цивилизовались, мы даже хвалили их успехи, находили в них залогом дальнейшего прогресса; но если то, что казалось нам хорошо, по-вашему было губительно, то нечего сказать, ведь не бог знает еще сколько этой гибели привилось к ним, не бог знает сколько заразились они ядом цивилизации: в конце III века, в половине IV века они все еще были странами полудикими; масса туземного населения оставалась еще очень невежественна, то есть, по-вашему, свежа. В исторической жизни эта масса не принимала еще ни малейшего участия; образованные классы были все еще малочисленны, да и они только лишь начинали принимать участие в исторической жизни, едва лишь начинали в них пробуждаться первые неопределенные мысли о самостоятельности. Значит, если долгая историческая жизнь не увеличивает, а уменьшает способность страны к прогрессу, — то есть почва, по вашей метафоре, не удобряется, а истощается растущим на ней лесом, и чем дальше разрастается лес, тем меньше остается свежих соков в земле, — если думать и так, в противность здравому смыслу, то все-таки по вашему же принципу оказывается, что Пиренейский полуостров, Галлия, Британия, Прирейнская немецкая полоса были странами очень свежими, очень способными к прогрессу, в то время как варвары стали истреблять в них рождавшуюся цивилизацию. Посмотрим теперь на Западную Европу. Если цивилизация истощает свежесть народных сил, если участие в исторической жизни уменьшает способность к прогрессу, то действительно ли население Западной Европы очень уже истощено в этих отношениях?

Образованности в Западной Европе очень много. Так; но неужели масса народа и в Германии, и в Англии, и во Франции еще до сих пор не остается погружена в препорядочное невежество? Утешьтесь: она верит в колдунов и ведьм, изобилует бесчисленными суеверными рассказами совершенно еще языческого характера. Неужели этого мало вам, чтобы признать в ней чрезвычайную свежесть сил, которая, по-вашему, соразмерна дикости?

Нынешнее состояние массы в самых передовых странах достаточно ручается, что она до сих пор почти вовсе еще не жила историческою жизнью, а продолжала искони веков дремать младенческим сном, какими дремали ваши любимые молодые страны. А не полагаетесь вы на этот вывод, по-нашему совершенно очевидный, то справьтесь с историею. История прямо вам говорит, что феодальное время было временем исторической жизни исключительно одних только феодалов и рыцарей; сначала под этими настоящими своими именами, потом под именами высшего сословия или аристократии, они одни распоряжались судьбою стран: строили учреждения, какие хотелось им, воевали, судили, управили и поживали себе, как сами думали, не допуская других сословий ровно ни к чему. Когда же кончился феодальный

порядок? Во Франции — в конце прошлого века, значит, еще не очень давно; в Англии — об ней мнения различны: по словам одних, в ней он еще продолжается; по словам других, кончился в 1846 году отменой хлебных законов; иные говорят: еще раньше, в 1832 году, парламентскою реформою, а еще другие говорят, будто еще раньше, в конце или в половине XVII века, при втором или при первом низвержении Стюартов. Возьмем самый далекий срок, все-таки выходит не многим больше 200 лет. В Германии покончилось господство феодализма наполеоновскими завоеваниями и реформами Штейна¹² в начале нынешнего века; но это лишь в Западной и Северной Германии, а в Южной, в австрийских землях — в 1848 году. До эпох, нами обозначенных, ни в одной из этих трех передовых стран не было в исторической жизни сильного участия не только со стороны массы населения, но и со стороны среднего сословия. Значит, еще некогда было истощиться от продолжительной исторической жизни силам не только массы населения, но и силам среднего сословия. Вы видите, что оно только еще принимается за ведение исторических событий, за устройство общественного порядка по своим надобностям: и в Германии, и в Англии, да и в самой Франции, как видит каждый, еще очень сильны элементы, сохраняющиеся от феодализма: армия и бюрократия.

По мнению порядочных писателей о сельском хозяйстве, чем дольше возделывается земля рациональным образом, тем плодороднее она становится. Вы, насмотревшись, должно быть, одного только залежного хозяйства, по которому через три года земля становится никуда негодна и нивы переносятся на новое место, думаете, что историческая жизнь истощает силы страны. Так вот, если даже и согласиться с вашим понятием, все-таки выходит, что лишь самая ничтожная доля в составе населения каждой передовой страны могла истощить свои силы, а если брать весь народ страны, то следует сказать, что он еще только готовится выступить на историческое поприще, только еще авангард народа — среднее сословие, уже действует на исторической арене, да и то почти лишь только начинает действовать; а главная масса еще и не принималась за дело, ее густые колонны еще только приближаются к полю исторической деятельности.

Рано, слишком рано заговорили вы о дряхлости западных народов: они еще только начинают жить.

Но мы видели, что точно так же едва начиналась историческая жизнь и в провинциях Римской империи. Кто нам поручится, что и жизнь Западной Европы не подвергнется такой же катастрофе?

Ручательством за то, что не будет такой катастрофы, служат география, статистика, технология и военное искусство. Отношение цивилизованного мира к варварскому и полуварварскому теперь уже и по пространству земли, и по числу населения не то,

какое было в прежние времена. Римская империя имела огромную величину; она равнялась пространством всей нынешней Западной Европе. Но огромнейшая часть ее состояла из земель, только еще начинавших цивилизоваться; уровень просвещения в них возвышался еще не столько собственными их силами, сколько влиянием Италии и Греции; быть может, довольно скоро — через два, через три века — они приобрели бы силу держаться и самостоятельно; но когда начался натиск варваров, они держались еще только умственным развитием итальянского и греческого племени. Италия, то есть пространство земли величиною в каких-нибудь 5 000 географических миль, и Греция со своими островами и узкою полоскою малоазийского побережья, то есть пространство в каких-нибудь две или три тысячи географических миль, еще оставались единственными странами, в которых цивилизация достигла такой силы, что образованность их уже существовала и развивалась внутренним могуществом. Таким образом весь тогдашний уже цивилизовавшийся мир ограничивался двумя небольшими землями, которые одни и служили существенно важными частями его, центрами, к которым лишь примыкали остальные громадные пространства, получавшие жизнь из этих центров. Теперь не то; в Западной Европе есть страны, которые в том или другом отношении цивилизованы больше других; но и страна, наименее сделавшая успехов, никак уже не может быть названа полуварварскою. Какая-нибудь Испания, или Померания, или Трансильвания все-таки страны цивилизованные. Нечто подобное положению, в каком были все части Римской империи, кроме Италии и Греции, представляет теперь быт лишь немногих очень небольших уголков Западной Европы — острова Сардинии, отчасти острова Корсики; но и Корсика и Сардиния все-таки несравненно дальше от дикости, чем была в III веке Галлия, не говоря уже о других римских провинциях. Тогдашнее состояние этих провинций можно сравнить с тем, что представляет теперь Ост-Индия или остров Ява, или, ближе к Европе, Алжиоия. Цивилизованный элемент страны сосредоточивается преимущественно в пришельцах другого племени; довольно многие туземцы принимают такую же цивилизацию, и число их увеличивается, но все-таки масса туземного простонародья еще остается совершенно варварскою. Если бы цивилизованный мир ныне ограничивался одною Англиею с Ост-Индиею и если бы вообразить, что Англия лежит где-нибудь на краю Ост-Индии, это было бы совершенно сходно с состоянием Римской империи. Разумеется, трудно было бы ручаться, что этот небольшой уголок, примкнутый к огромному пространству полудиких земель и ослабляемый каждым несчастьем еще столь слабой цивилизации в этих землях, может удержаться против наплыва диких орд из всей Центральной Азии. Таким образом первая разница: широкость и прочность основания, приобретенного новою цивилизациею.

Соразмерно тому, как увеличилось пространство цивилизованных земель, уменьшилось пространство земель, откуда может устремиться в них поток варварства. Еще разительнее изменилось отношение по числу населения. Если мы исключим Китай, Японию, Ост-Индию, племена которых, конечно, уже не грозят вторжением в Западную Европу, то весь остальной старый свет уже не имеет столько населения, как Западная Европа. Если считать силу по числу рук, перевес силы уже на стороне Западной Европы. Не так было полторы тысячи лет тому назад, когда существенное сопротивление бесчисленным дикарям ограничивалось лишь населением Италии и Греции. Наконец технология и военное искусство находятся теперь совершенно в ином положении. У варвара и у римского легионера самым сильным оружием был меч, который умеют ковать и в полуварварских странах. Если бы судьба походов решалась и теперь палашами и штыками, успех мог бы еще представляться возможным. Он затруднился с изобретением пороха, с появлением ружей и пушек. Но пока оставались старинные ружья, старинные пушки слишком топорной работы, какой-нибудь Дост Могаммед афганский мог устраивать у себя оружейные и литейные заводы не хуже европейских. Теперь не то. Когда возмутилась бенгальская армия, англичане, разумеется, были очень поражены неожиданною перспективою растрат, усилий, каких стоить будет им борьба, но в заключение очень основательно прибавляли: «мы снабдили этих сипаев превосходнейшим вооружением, но чинить своих ружей они не могут, делать патронов для них не могут; когда они расстреляют захваченные ими в наших арсеналах патроны, они останутся почти безоружны против нас, потому что теми ружьями, какие они могут и чинить, теми патронами, какие они могут делать, сражаться им с нами нельзя».